



Каган Д. Рассказы живым. Гродно

Снова Гродно

Февраль. Холодно в землянке по-прежнему, но уже заметны признаки скорой весны. Дни дольше. Сквозь маленькое, под потолком, продолговатое окошко видно, как падают капли с крыши. Упадет сосулька и звонко разлетится на мелкие кусочки.

Я просил врачей, чтоб меня отправили в гродненский лагерь. Наконец представилась возможность: часть больных отправляют, Мостовой включил и меня в эту партию.

— А там, из инфекционного лазарета переберешься опять к своим...

В лагерь привезли доски на двух грузовиках, сгрузили и обратным рейсом взяли больных. Лежим в открытом кузове, тесно прижавшись, друг к другу, стараясь уберечь от ветра тепло своих тел. Никто не знает, что ждет нас в Гродно, но, выехав из ворот лагеря, где за зиму умерло большинство находившихся в нем заключенных, мы облегченно вздохнули. Инфекционный лазарет расположен на краю города, в трехэтажном здании бывшей казармы. Долго ждать пришлось, пока одной парой носилок санитары. Перетаскали нас в корпус. Тесные ряды двух и трехэтажных нар сплошь заняты людьми. Некоторые перегнулись с верхних нар и рассматривают вновь прибывших. Я и сам тороплюсь рассмотреть пленных, пока косилки не пронесли дальше. Но как узнать знакомого среди этих бородатых скелетов?

На следующий день пришел больной, который лежал у меня в том лазарете, что был рядом с мостом через Неман, до перевода в лагерь. Долго он тогда болел воспалением легких, наконец, встал на ноги.

— Я сегодня утром услышал, что вас привезли. — Улыбается перекошенным ртом, — его ранило в челюсть.

— А ты с чем здесь?

— Уже два месяца... Сначала дизентерия, потом тиф. Без сознания был.

Ну, молодец, живуч, как кошка! Смотрю на него, и мне кажется, что и у самого сил чуть больше.

Он достает из противогазной сумки, что висит у него под шинелью, несколько вареных картофелин и подает мне.

— А хлеба — ни грамма...

- Спасибо!
- И соли нет нисколько.
- И без соли хорошо!
- Я на втором этаже, у входа, — говорит он, прощаясь.
- Начну ходить, приду обязательно.

Спустя десять дней впервые вышел во двор лазарета. В лучах заходящего солнца по небу плывут мелкие облака, их нежный розовый цвет предвещает близкую весну. Медленно хожу около стены, иногда наступаю на льдинки, упавшие с крыши, с удовольствием прислушиваюсь к их хрусту. Дыхание приближающейся весны, с детства знакомые звуки вечно повторяющейся природы будят надежду на освобождение.

С тех пор, как, стоя ночью у окна седьмого ноября прошлого года, почувствовал, что в своем положении заключенный всегда хитрее охранников, меня не покидает мысль о побеге. Иногда спокойно и рассудительно рассматриваю проволоку, как бы примериваясь к ней, где и как можно проползти, считаю, сколько шагов делает часовой на своем участке и за какое приблизительно время, а иногда, в озлоблении, туманит мозг безрассудное желание по-звериному броситься на проволоку. Но всегда, в гродненском ли лагере, в Лососно или здесь, жива мечта о побеге. С этим встаю, этим кончается день. И сейчас, делая вид, что ковыряю палкой что-то в снегу, рассматриваю устройство ограды. Как они любят трафарет! Вокруг людей, что лежат с температурой или едва волочат ноги, также воздвигаются два ряда высокой проволочной ограды, и здесь вышки с пулеметами... Ну-у! Придет час и на вас!

Караульный на вышке отвел взгляд от двора, смотрит на запад, где багровым шаром опускается за горизонт солнце. Сyp уж, наверно, войной. Взглянув на него, я заковылял к входу в казарму, где несколько больных с интересом слушают товарища. Опираясь на костыль, он о чем-то оживленно рассказывает. Я поздоровался, стал слушать.

– Того немца, что к нему ходил, отправили на фронт. Карцер из одиночных камер, двери обиты железом. В эту ночь камеры почему-то закрыли на внутренний замок, а наружного не повесили. Лешка сумел выйти из своей камеры и открыл еще одну соседнюю.

Не про Лешку ли, летчика, идет разговор? На спрашиваю, хочу дождаться конца.

– А я слышал будто подкоп сделали, — говорит один из больных в надвинутой на лоб серой буденовке.

– Ну, насчет подкопа придумали, наверно.

– Не знаю — Я рассказываю, что слышал от верного человека. — Лешка из Лососно ушел — в том все дело!

Он из Лососно! Не сомневаюсь, что летчик сумел уйти, рад за него, завидую ему и его товарищам.

Прошло еще несколько дней и нас, небольшую группу, под охраной конвоиров направили в лагерь.

– О-хо-хо... — горестно произносит Яша, едва узнавая меня. Обняли друг друга.

– Ну, что ты разохался, — говорит Баранов, легонько отстраняя Яшу. Пришел Максимов, он тоже не сразу узнал.

Порядки в лагере не изменились. Людей значительно меньше прежнего: много умерло, часть отправили в Германию. А в лазарете, как и раньше, переполнено.

Начав работать, зашел в хирургическое отделение к Иванову. Мест нет, и носилки с больными тесно установлены в коридоре. Тут и те, кто ждет операции. Большинство из них с гангреной конечностей после сыпняка Черные стопы торчат, не покрыты, да и накрывать их незачем, мертвые ноги не чувствуют холода. Издали они похожи на головешки, кажется, что людей вытащили из огня с обуглившимися ногами. Договорился с Ивановым об операции двум больным нашего отделения и, уходя, зашел в перевязочную.

Волков дружески кивает мне и продолжает свое дело. Маленький, быстрый, он первый помощник у Иванова. Сегодня у Волкова много работы и я жалею, что не могу с ним поговорить. От Иванова и Волкова удавалось узнать что-нибудь о внешнем мире.

— Ты как-нибудь к нам забеги, — прошу я, уходя.

— Как-нибудь. Привет Яше!

Общение между отделениями разрешается только в дневное время. А выход с территории лазарета в лагерь запрещается и днем. Если кто-нибудь пытается «пикировать» на лагерную кухню, того избивают полицаи, а затем передают в руки Вобса. Обычно экзекуция происходит под окнами лазарета. Провинившегося заставляют бежать. Бежать вдоль проволоки.

— Liegen! — приказывает Вобс и пленный падает на землю.

— Aufstehen! — криком подымает Вобс пленного, и тот бежит дальше.

Несколько полицейских стоят наготове, чтоб при случае резиновой дубинкой «помочь» несчастному выполнить приказание.

— Liegen! Aufstehen! Liegen! Aufstehen! — слышится хриплый голос унтера, вошедшего в раж

— Schweinehirt! — хватается он за парабеллум, если изнемогший человек не поднимается тотчас после команды.

Главное удовольствие Вобс находит в том, чтобы почаще укладывать пленного в грязь или мокрый снег. Когда из-под упавшего летят брызги воды, смешанной с талым снегом, Вобс с удовольствием поглаживает усы. Насытившись, он, а за ним и полицаи удаляются.

Пленный медленно встает с земли, сначала на четвереньки, затем с трудом распрямляется. Грязная вода струйками течет с рукавов и с пол шинели. Он делает несколько шагов, спотыкаясь, как стреноженная лошадь, и, не в силах идти дальше, опускается на землю, привалившись спиной к столбу провололочной ограды.

Каждую неделю, в четверг утром, в лагере построение. Персонал лазарета и ходячие больные выстраиваются на левом фланге лагерной колонны. Колонна опоясывает площадь в центре лагеря. Строятся по блокам, кроме того, пленные каждого блока разделены еще на группы по национальностям. Русские отдельно, украинцы — отдельно, затем группа Weissrussisch, кавказские национальности, дальше стоят Asiaten, сюда входят мусульмане. Группу Juden ставят в стороне от общей колонны. На каждую колонну — список. Списки отдают полицейским, а те — коменданту лагеря. Рядом с ним переводчик.

Полицаи подходят один за другим, и, козырнув, щелкнув каблуками и вытянувшись, докладывают. Солнечные блики играют на лакированных сапогах коменданта, кажется, что эти подобострастные лица полицейских отражаются в их зеркальной поверхности. Старший врач Блисков стоит впереди госпитальной колонны, ждет своей очереди, когда подойдет полицай и он отдаст списки. Меня постоянно включают в группу русских.

С тоскливым нетерпением все ждут окончания построения. Холодно. Чтоб согреться, поколачивают ногу об ногу, топают на месте — пока не подойдет полицай, это разрешается. Я стою в предпоследнем ряду. Очки спрятаны в карман: мне кажется, что без очков я меньше похож на еврея. Прежние построения прошли благополучно. Но на этот раз могут разоблачить. Подойдет полицай, обложит матом и потащит к коменданту. А потом в группу обреченных: «Juden...»

Нет, и сегодня обошлось.

Однажды Блисков, встретив меня в коридоре лазарета, спросил о самочувствии и как бы между прочим сказал:

— Можешь завтра на построение не ходить!

Это значит: построение будет особенное, более строгое, может быть, ожидается приезд какого-нибудь немецкого начальства.

– Спасибо, Петр Васильевич, что выручаете!

– Тебя, брат, больные выручают.

Я не совсем понял, что он имеет в виду, но рад его словам.

В середине марта привезли эшелон пленных из Бобруйска. Лагерь военнопленных в бобруйской крепости ликвидировали, тех, кто уцелел в эту страшную зиму, погрузили в товарный порожняк и отправили на запад. Эшелон прибыл ночью. Для разгрузки вагонов взяли команду из лагеря и часть медработников из лазарета. Когда открыли вагоны, никто оттуда не вышел. Оставшиеся в живых рассказывают, что за время пути из Бобруйска — почти трое суток — вагоны ни разу не открывали, ни воды, ни еды никто не получал. Поезд подолгу стоял на каждой станции, иногда его загоняли в тупик на полдня. Ни в одном вагоне не было печки. Особенно холод мучил людей ночью, морозы по ночам еще сильные. Живых выносим на носилках или выводим под руки и отправляем на подводах в лагерь, там им отвели место в пустовавшей казарме на краю лагеря. Трупы складываем тут же, на перроне. Разгрузка длится до поздней ночи.

Утром Блисков направил Списа, Горбунова и меня в казарму, где поместили бобруйских. Стол для перевязок мы поставили рядом с нарами, у окна. Одного за другим больных подносят к столу. Некоторые сами ползут. Огромные флегмоны с прилипшими грязными тряпками или вовсе ничем не закрытые, мокнувшие гангрены с обнаженными костями. Грязные, задубевшие от гноя брюки и гимнастерки, густая вшивость на теле, во всех складках одежды. Люди в шоковом состоянии, во время перевязки не кричат. Морщинистая кожа лица искажается гримасой боли, обнажая сжатые зубы. Это сморщенное лицо с безмолвным оскалом страшнее крика.

После перевязок осматриваем больных, лежащих на нарах. Тут и тифозные, и легочные больные (воспаление легких или туберкулез — сразу не скажешь), а главным образом дистрофия. Дистрофики лежат неподвижно, отекие, ко всему равнодушные, не имея сил и желания бороться с насекомыми. Они ничего не просят и почти ни на что не жалуются. Если произносят что-нибудь, то шепотом. Отрешенность, равнодушие, полузабытье — первые признаки близкой смерти. Спис, я и Горбунов приходим сюда и на второй, и на третий день. Часть больных переводим в лазарет.

Среди бобруйских оказался один фельдшер, с отмороженными пальцами правой ноги. Яша принес ему самодельные костыли, поместил к окну, рядом с нами. Немного освободившись, сели отдохнуть.

– Оставьте «сорок», — попросил фельдшер Яшу.

– Неужели только эти и уцелели из бобруйского лагеря? — спрашивает Яша, отдавая окурки.

Тот ответил не сразу.

– В вагоны погрузили всех оставшихся. Осенью было около двадцати тысяч. — Он поднес окурки к губам, тонкие пальцы его дрожат. — В казематах крепости находилось по шестьдесят-восемьдесят человек, стоять негде было. На площади жили, на земле... Когда снег выпал, стали рыть норы, на два-три человека. За-а-мер-за-ли на-а-смерть, — выдавливая слова, проговорил он. Что-то нехорошее в его взгляде, не то ужас, не то безумие. В лагере уже есть «Особая группа» — коммунисты, политруки, евреи. В ней и те, кто бежал из плена и был пойман. В центре лагеря, в подвале под казармой сидят около тридцати человек. Сюда же перевели и «Особую группу» из Лососно. Из казармы, где находятся бобруйские, виден этот подвал, Яша показал мне его. Не щадят и больных. В «Особую» унесли на носилках Беленького с остеомиелитом обеих голеней. Пришел Вобс, ефрейтор из комендатуры и двое солдат. Калеку положили на носилки, рядом с ним костыли. Когда Сашка-санитар положил на носилки вещевой мешок больного, ефрейтор усмехнулся и махнул рукой: не понадобится.

Ждет своей очереди и Мачульский, мой однополчанин. Его недавно перевели сюда из инфекционного лазарета. Как назло огнестрельная рана в области правой лопатки заживает. А ведь только незаживающая рана и есть та маленькая зацепка, которая позволяет Мачульскому еще задержаться в лазарете, не попасть «Особую». На день задержаться, на два — и то важно. Живем одним днем. Может быть, завтра все изменится! Или наши прорвут фронт, или Гитлер сдохнет, — мало ли что может случиться? От частого натирания ляписом рана становится бледно вялой, с синими краями. Кажется, она никогда не заживет. Но через несколько дней, снимая повязку, можно видеть признаки оживления. Я досадую и на себя, и на Мачульского.

— По виду вы могли бы сойти и за грузина, и за армянина. Что разве ничего нельзя было сделать?

— Вначале ничего не хотел менять. А потом уже поздно было. Полицаи меня заклевали: юдэ и юдэ...

— Не знаю, что еще можно положить на рану. В глубине она уже давно зажила, поэтому и сверху затягивается.

— Я ее тру, давяю. Ну, да мало надежды, что немцы будут разбираться, больной или здоровый.

Я и сам жду со дня на день, что у порога появится, немец из комендатуры и произнесет короткое: «Ком». Баранову дал адрес, родителей, обменялся с ним одеждой. Отдал свою длинную шинель, а себе взял его поддевку, сшитую им самим из шинели, здесь же, в лазарете, — она похожа на гражданскую. Вместо гимнастерки я ношу суконную куртку. Под подкладку спрятал кусок желтой материи; в случае побега — нашью желтые звезды, может быть, удастся сойти за местного еврея, идущего на работу, и таким образом пробраться за город. Повязку надо снять, рана за ухом почти зажила.

Баранов успокаивает:

— Пока немцам еще нужны врачи...

Прошу Михаила Прокопьевича достать газету. Узнать бы, что на фронте.

— Попробуйте! Хотя что-нибудь между строк прочтем?

— Попытаюсь в канцелярии стащить, если попадется на глаза. Завтра пойду тряпки выписывать.

— КОГДА будет пасха, не знаешь? — спрашивает Максимов у Баранова.

— Зачем тебе пасха, скоро Первомай.

— На Первомай немцы нам шиш дадут, а в пасху может быть, разрешат передачи от гражданских.

— Из этих соображений?! — засмеялся Баранов. — Вряд ли! Гражданские и сами зубы на полку кладут. А тебе все еще твоя Маруся снится?

— Мне? От немецкой брюквы разве кто приснится?

— Ну она о тебе не забыла, наверно.

— Не знаю... Может, ее в Германию угнали.

Когда лазарет был в городе, в казарме на берегу Немана, жителям разрешалось приносить пленным передачи. В лазарет приходили искать близких: мужей, сыновей, братьев, или хотя бы тех, кто служил с их близкими. Узнать, расспросить... Женщины побойчее прорывались внутрь двора, шли в казарму, не обращая внимания на угрозы часовых. «Это брат мой!» — кричит, показывая немцу на кого-нибудь из пленных, и бежит с котомкой. Мария, знакомая Максимова, сама недоедала, приносила передачу.

Перевели лазарет в лагерь, и она, рискуя быть избитой полицаями или конвоирами, передавала с пленными, что работали на станции, кусок хлеба и записку. Хлеб не всегда приходил по адресу, а записку передавали Максиму. Лагерь и лазарет находили способ

общаться между собой.

Такой же преданный человек был и у Сашки, санитар из отделения Списа.

«Сашка-ленинградец» прозвали его за то, что он часто говорил: «Мы — ленинградцы», не упускал случая рассказать что-нибудь про свой город. Он познакомился с медсестрой в лазарете еще в то время, когда гражданские медики там работали, до перевода в лагерь. В канун войны Соню направили в Гродно. Поселилась на частной квартире, работала в больнице. Война!.. Ни родных, ни одного близкого человека. Она еврейка, но к счастью, со светлыми волосами. Когда оккупанты заняли город, хозяева квартиры, русские, надумали девочку не выдавать своей национальности, тем более, что и внешность у нее не подозрительная. В больницу больше не ходила, с августа стала работать в лазарете для военнопленных. Хозяева квартиры помогли ей и Ausweis получить, сказали, что она их племянница. Они рисковали жизнью, по городу уже висели немецкие объявления-приказы: «За сокрытие евреев — смертная казнь!»

Соня привязалась к Сашке со всей доверчивостью молодой, одинокой души. Она готова была идти за ним хоть в лагерь, за проволоку. Хороший парень, такого полюбишь! Хотя и иссушила его брюква, но сохранились стройность фигуры, улыбка, живость характера. Про Соню он мне рассказал однажды, показал ее фото. Тогда же я спросил: делился ли он еще с кем о ее национальности?

— Никому, никогда! — ответил он сердито и быстро спрятал фотографию.

Я верю в него, приходилось несколько раз убеждаться, что Сашка противник всякого рода шовинизма. Тут он был бескомпромиссен и разделял того, кто на примере двух-трех плохих людей огульно охаивал целый народ, нацию.

— Ты на себя посмотри, зануда! — кричал Сашка. — Если у человека отец-мать другой национальности, так он хуже тебя?!

Про отправку говорят все настойчивей. Всех пленных фотографируют, каждому выдают металлическую пластинку, на которой выбит номер лагеря и личный номер пленного. Фотокарточки хранятся в комендатуре, а пластинка со шнурком, — ее нужно всегда носить на груди. Побросав в рвы и траншеи сотни тысяч военнопленных, не ведя при этом никакой регистрации, немцы с весны 1942 года стали учитывать пленных по номерам и фамилиям, да еще и фотографировать. К этому времени едва ли десятая часть пленных осталась в живых. Побоялись ли немцы заявления Советского правительства, слухи о котором дошли и до нас, или, может быть, посчитались с тем, что немало и их солдат и офицеров находятся в плену. Скорее всего это было связано с формированием колонн для предстоящей отправки на работы в Германию. Такой порядок в фашистской империи: всех нумеровать. На моей пластинке выбито: Stalag 324. И ниже — 27556.

Пасмурный день конца марта. На этот раз построение лагеря срочное, внеочередное. Длинная колонна пленных опоясывает площадь лагеря. Уже час стоим под мелким дождем, поднятые воротники шинелей нахлобученные на лоб пилотки и буденовки не спасают, от холода.

Через ворота въезжает черный лимузин и останавливается посреди площади. Из машины вылезает широкотелый офицер с серебристыми погонами, за ним — дюжий солдат. Они становятся рядом. Каждую фразу офицера солдат тотчас переводит на русский язык.

— Слушайте внима-а-тель-но-о! — угрожающе кричит офицер. — Вас скоро повезут в Германию. Там вы будете работать. Знайте же законы Германской империи!

— Офицер делает паузу, подчеркивая всю важность предстоящего сообщения. Одной рукой ухватил ремень на животе, другую сжал в кулак и держит на отлете. Лицо темное, а может, просто небритое, — издали не видно.

Рот фашиста снова раскрывается:

— Каждый из вас, кого заметят в разговоре с немецкой девушкой или женщиной, будет

наказан палками и заключен в тюрьму!

Пока переводчик пересказывает, его начальник, наклонившись, всматривается в колонну. Кажется, он вот-вот сорвется с места и ринется вперед. Люди слушают молча, понуро, с одной мыслью: когда окончится стояние под дождем и снова отведут под крышу.

— Каждый из вас, кого уличат в сожительстве с женщиной немецкой крови, будет повешен! — кулак нациста взметнулся вверх. — Запомните сами и передайте другим! Переводчик повторил л тоже угрожающе взмахнул рукой.

— Нам бы хлебца-а... — нарочито тягуче произносит кто-то в колонне позади меня. Лица пленных оживляются, раздается сдавленный смешок... Русский человек и в таком положении не теряет юмора.

Офицер и переводчик еще минуту рассматривают заключенных, затем усаживаются в машину, — офицер впереди, переводчик на заднее сиденье.

Медленно переставляя ноги, все расходятся по блокам.

— Ну, идиоты! — ругается Баранов, идя рядом. — Читал когда-то рассказ Лескова «Железная воля», про полусумасшедшего немца. Но от того, помню, большой беды не было, он ведь власти не имел.

Лагерная территория вся вытоптана, травы мало, но сейчас весна и кое-где пробивается зелень. Вместе с больными отыскиваю молодые побеги лебеды. Лебеда мягкая, с покрытыми сероватым пушком листьями. Побольше ее у проволоочной ограды, но туда подходить опасно. Когда сварить — кушать можно, хотя и горькая. Однако сытости нет, только живот пучит. Некоторые больные варят лебеду по два раза в день и им приходится объяснять, что большие количества этого сорняка могут вызвать отравление.

Больных тифом в лагере стало меньше. На оставшихся в живых, по следам сыпняка и голода, пришла другая эпидемия, — туберкулез. Туберкулез во всех формах, с разными осложнениями. Участились кровохаркания, легочные кровотечения. Для больных с выраженным процессом Блисков отвел нижний этаж нашего подъезда, а тех, у кого нет туберкулеза, перевели в другие отделения. Врачей двое — я и Семирханов. Он терапевт, работал в Казани, в армию призван перед войной. Старше меня, наверно, вдвое, низкорослый, с большой лысиной. За нами и те отделения, где мы работаем, а туберкулезное — дополнительно. Больны лежат на тесно сдвинутых деревянных нарах, в узких проходах расставлены жестяные плевательницы. Трудно попасть туда плевком с верхних нар и часто брызги мокроты летят на лежащих внизу. Тесно, воздуха мало, а главное — голод: одна брюква, как прежде. Хлеб стал хуже. Не хлеб, а черная масса, сырая, тягучая. Если сложить две спичечные коробки вместе — это и будет размер пайка на день.

Мы с Семирхановым решили идти к Блискову. Знаем, что он не хозяин, судьба больных зависит от начальника лазарета Шольца — немецкого врача в чине старшего лейтенанта, но попытаться надо. Блискова нашли в хирургическом отделении, у Иванова. Иванов болен, у него сердечный приступ, он не встает. Блисков сидит рядом и старается успокоить и чем-нибудь развлечь товарища. Хирург грустными глазами смотрит на нас, лицо его бледное, с синевой на губах

Рассказываем о положении в туберкулезном отделении.

— Может быть, дадут с кухни еще пол-литра баланды туберкулезному больному? Неужели Шольц не разрешит? — спрашивает Семирханов.

— Разрешит?! — саркастически произносит Блисков. — Я уже разговаривал, знаю... Он и слышать не хочет о туберкулезных! — Блисков встал, отошел от Иванова. — По их взглядам, каждый туберкулезный больной должен умереть, и чем скорее, тем лучше. Они и своих не очень жалеют. Дескать, сама природа заботится о здоровье нации, поражая

неполноценных людей туберкулезом. У них такие теории... — Он закашлялся, подождал, пока утихнет одышка.

— Теперь о лекарствах. Ивановский говорит, что в аптеке был креозот, наш, советский. Шольц его забрал, когда осматривал аптеку. В городе лекарств нет, он сумеет погреть руки и на этом.

Мы вернулись в отделение ни с чем.

Комендатура все напоминает о себе. .Одно время. перестали хватать пленных и переводить их в «Особую группу». Будто уж насытилась утроба тюремщиков. Но в .конце апреля снова посадили несколько человек из лазарета. Пришли в хирургическое отделение, где находился майор-танкист. Велели уйти всем больным, кроме него. О чем говорили с ним — неизвестно, но минут через пятнадцать больные услышали из-за двери громкий, с раздражением и вызовом голос майора:

— Да, я коммунист, коммунист!

О нем долго помнили в лазарете. Умел разговаривать с людьми, находил доброе слово, чтоб поднять настроение. В последнее время часто появлялся во дворе и. опираясь на палку, шлепая парализованной после ранения стопой, ходил около корпуса. Однажды рассказал анекдот про румынского диктатора Антонеску, все хохотали.

Последним взяли Школьников, переводчика. Умница, очень начитанный, на что он-то надеялся? Разве не было возможности бежать, когда сопровождал Вобса за территорию лагеря, в город? Но Вобс все время при оружии. И в городе — не в лесу, где спрячешься? Недели две тому назад Школьников заглянул к нам в отделение. Я сидел один.

— Блискова ищут, Вобс вызывает.

— Зайдите на минуту! Что нового?

— Ничего, как всегда,— ответил Школьников и взялся за ручку двери.

— Случайно, газетки нет ли у вас?

— Нет.

К чему такая лаконичность ответов? Торопится, боится опоздать с выполнением приказа?

Но еще не покидала надежда вызвать Школьников на откровенность. Э-э, что мне осторожничать?! Я поднялся и подошел к нему вплотную.

— Чего мы ждем? На что надеемся?

Низенький Школьников, настороженно посмотрел на меня.

— Говорят, вы иногда бываете за лагерем. Как там, в городе? Неужели нет возможности бежать?

И без того бледное лицо переводчика побелело еще больше.

— Куда? И как? — Голос его задрожал. Черные глаза выражали безысходную тоску обреченного человека.

«Нет, он не побежит, — подумал я, отворачиваясь.— Будет тянуть лямку, пока не выкопают ямку».

Двоих выпустили из «Особой группы»: врача Каплана и фельдшера Гиршензона. Каплан находился в «Особой» еще в Лососно. Как рассказывали те, кто был в Лососно, его как врача, может быть, и не посадили бы. Но кто-то из полицаев знал его по лагерю в Волковыске, а в Лососно встретил под другой фамилией. Каплана избили, отправили в «Особую».

Гиршензон сумел доказать, что он медик, в этом было единственное для него спасение. Человек с энциклопедическими знаниями, владеет несколькими европейскими языками. Сам он из Барановичей, учился в университете в Падуе, на севере Италии. В лагерном лазарете он работает с осени, а в марте его посадили.

Выпустили обоих двадцатого июля, за два дня до расстрела «Особой группы».

Комендатура лагеря имела какие-то указания насчет врачей и фельдшеров.

Газету Михаил все-таки достал, стащил из канцелярии Вобса, правда, старую, за апрель сорок второго года. На первой странице в жирных заголовках вопли о налетах авиации союзников на немецкие города. Клянут англичан за Кёльн, поместили фотографию Кёльнского собора.

— Надо, чтоб и другие знали, что немцы скулят! А, Михаил Прокопьевич?

— Санитарам расскажем, а там и больные узнают. В мае, июне бомбежки немецких тылов участились и об этом уже не смогла скрывать и газетка для пленных, издающаяся в Берлине. Авторы этого листка никогда не печалились о разрушенных немцами памятниках культуры в России, а тут вдруг жалостливо заговорили о многовековой культуре Германии. Откуда и слова такие нашлись у погромщиков?

Пригнали в Гродно остатки лососненского лагеря: двести пленных, оставшихся из многих тысяч, бывших там осенью. Только триста человек немцы смогли признать годными и отправить на работу в Германию. Около восемнадцати тысяч трупов зарыто в районе Лососно.

Встретился с Мостовым, Прушинским, Кругловым. Круглов болел сыпняком одновременно со мной, сейчас мы с ним с некоторым удивлением рассматриваем друг друга: уцелели...

— Еще не зажило? — спрашивает он, имея в виду наклейку у меня за ухом.

— Свищик небольшой.

— А нога как? Все хромаете?

— Кость гноится, но уже меньше.

— Мы тут долго не пробудем, наверно, ликвидируют гродненский лагерь. Как думаете? — Круглов смотрит вопросительно.

— Везут население на запад, повезут и нас. Те, кого водят на работу в город, на станцию, рассказывают, что ежедневно проходят эшелоны с гражданским населением. Больше молодых, но бывает, что и детей везут. Гражданские увидят из вагонов пленных — машут руками, плачут.

Наступило молчание. Оба думаем о своих близких. Сумели уехать на восток или попали в оккупацию?

— Да, зубами проволоку не перегрызешь, — в раздумье произносит Павел. — Ну, бывайте, еще увидимся.

В лагере все чаще формируют команды для отправки в Германию. Забирают и из лазарета, в одну из партий попал Волков. Почти каждую неделю осмотры, Шольц и Вобс выбирают тех, кто, как им кажется, сможет работать. Нервы напряжены. Коль повезут всех, так скорее бы, есть надежда на побег в дороге. В пути легче удрать, чем из этого проволочного мешка, а сидя здесь, только могилы дождешься. История гродненского лагеря пока что не знает ни одного удачного побега с лагерной территории. Редкие побеги удавались только из рабочей команды когда конвоиры уволили пленных на работу за пределы лагеря.

Пристальное рассматривание ограды вошло в привычку. Но смотри, не смотри — толку мало. Вахт-команда тщательно следит за оградой. Добавляют витки колючей проволоки, скашивают траву между рядами, убирают камни. Гладко, как на полированном столе, негде укрыться! Часто с вышек раздается треск пулеметной стрельбы, проверяют оружие, делают пристрелку. Приезжие офицеры иногда инспектируют вахт-команду. Видно, как вдоль ограды ходит офицер в сопровождении чинов из комендатуры лагеря и в некоторых местах останавливается, показывая на проволоку, что-то приказывает.

Я по-прежнему, больше по привычке, чем из-за предосторожности (уже нет уверенности и что немцам неизвестна моя национальность), скрываю свое знание немецкого языка, по-прежнему трясую головой «Не понимаю», если кто из немцев обращается с вопросом.

Но близкие товарищи знали, что содержание газет доктор сумеет разобрать, и приносят их все чаще. Центральная немецкая газета тоже может служить источником информации, если вникнуть. Сообщают, что бои идут под Тихвином. Пишут об этом и через две недели, причем хвалятся, что ворвались на позиции большевиков и отбросили их на три километра. Но если за две недели немцы продвинулись на три километра, значит, бьют здесь не большевиков, а, наоборот, наши бьют немцев. Сводка немецкого командования кричит об успешных боях у Севастополя. Значит, морская крепость еще в наших руках. Всегда газету прочтешь по-своему и найдешь в ней хотя бы намёк на его, что хочешь найти, во что веришь, на что надеешься. Недаром немцы не разрешают читать центральные издания. Ничего, кроме специально издающегося для пленных листка! Легче достать газету тем, кто ходит на работу. Редко, но достают. Противно, тяжело разбирать то хвастливые, то угрожающие статьи. Но важно найти то, что скрывается за ложью, чем вызваны угрозы. И особенно важно разобрать в сводке, где немцы «сокращают, выравнивают линию фронта», а из сообщений о потерях союзной авиации узнать, где немцев бомбили.

Пока я разбираю содержание сводки, все терпеливо молчат, прислушиваясь, не идет ли кто чужой по коридору.

— Ленинград как? — спрашивает Коробов. Он окончил военно-фельдшерскую школу в Ленинграде. Здесь, в лагере, заболел туберкулезом и его перевели к нам

— Про Ленинград молчат. На севере и в центре фронт там, где и был, немцы нигде не продвинулись

— Застрял у них в горле Ленинград, — добавляет Михаил Прокопьевич. — Что Англия и Америка, нигде не собираются высаживаться?

— Думаю, что немцы проговорились бы, если бы такое произошло, — отвечаю я.

— Помогли бы нашим вторым фронтом — и все, конец Гитлеру через полгода! — Баранов рвет газету и, сунув в печку, тут же поджигает.

За окном слышно как немцы поют. Между главной оградой лагеря и немецкими казармами проходит дорога, по ней каждый день в одно и тоже время идет в город рота солдат и всегда у них одна и та же песня. Молодых мало, в такт песне, в ногу идут только передние, а остальные — как могут, сутулятся. Вон, колченогий, вовсе не в шеренге, винтовка с одной стороны, противогаз с другой, они на длинных для его роста ремнях, шлепают по ногам. Он и сам обвис, грудь запала, живот тощий, кажется, что все ушло вниз, в широкие голенища сапог. И еще один такой же, его почему-то клонит вправо, он уже дважды сходил на обочину. Смотрю на них, не отрываясь. Конечно, на фронте другие солдаты, но все равно не римские вы легионеры, не суждено вам захватить мир, нет! Да и среди фронтовых солдат тоже, наверно, разные...

— Раненого привезли!

— Как раненого?! Откуда?

— Я сам толком не знаю! Вон у подъезда, на носилках! Сашка прибежал, сказал, чтоб я помог нести в перевязочную.

— Баранов на минуту зашел в палату, чтоб сообщить новость. Спешу за ним.

Продолжается дождь, ливший всю ночь. Ночью была гроза, дребезжали рамы от сильного ветра, к утру ветер утих, но серая пелена дождя еще висит за окном.

В перевязочной Спир, Пушкарев, санитары. Раненого перекладывают с носилок на стол. Он босиком. Широкие галифе кавалерийского командира залиты кровью, Высокого роста, с худым лицом, светлыми, свалявшимися волосами. Бледен от волнения и потери крови, Спрашивать ни о чем нельзя: у двери стоит Вобс и еще двое из комендатуры. Пушкарев тихонько отвечает мне:

— Побег!

Рана оказалась не опасной. Сквозное пулевое ранение бедра, кость не задета. Перевязав, отнесли на нары.

Вскоре стали известны подробности побега. Старший лейтенант уже однажды бежал. Его поймали и после долгих допросов посадили в «Особую группу». Но кто пытался бежать один раз, тот попытает счастье вторично. Немного оправившись от побоев и допросов, стал готовиться к новому побегу. Рассмотрел, что от подвала, где находится «Особая группа», идет неглубокая канава до самой проволоки и выходит за нее недалеко от комендатуры. Подобрал еще троих: Маркова — политрука, Аронова и Клейнгейзента. Пилить решетку нечем. Оставалось одно: из ночи в ночь выковыривать большим гвоздем кусочки бетона из-под каждого прута. Это было, наконец, сделано. Дождались ненастной ночи, темной, с грозой. Сегодня четверо смельчаков вылезли из подвала и по-пластунски добрались до проволоки, подлезли под нее и выскочили на улицу. Светало. Не все знали расположение улиц в городе, поэтому держались вместе. Уже недалеко от Немана наткнулись на жандармский патруль. Аронов был убит сразу. Марков и Клейнгейзент успели добежать до берега и бросились в реку. Шавров, теряя силы, свернул в разбитое здание, надеясь, что где-нибудь в стене есть пролом, но оказался там как в западне: ни спрятаться, ни выскочить. Вбежавший вслед за ним жандарм выстрелил в упор. О судьбе бросившихся в Неман ничего неизвестно. Погибли ли они в реке под выстрелами патрулей или им удалось переплыть реку и добраться до леса, — никто не знает.

Побег четверых, пусть и неудачный, приободрил весь лагерь. Обсуждают событие на все лады.

— Если бы пораньше вылезли из подвала...

— За проволокой надо было разделиться, а не бежать вчетвером.

— Старшему лейтенанту не повезло, из здания, куда вбежал, не было выхода...

Каждый ставит себя на место беглецов и обдумывает возможные варианты.

«Особую группу» перевели в другое помещение в том же подвале. Усилили охрану. Дни «Особой» сочтены. Накануне расстрела по приказу коменданта лагеря из хирургического отделения отправили обратно в подвал Шмуйловича. Он находился в лазарете с прободением язвы желудка, удачной операцией Иванов спас его от неминуемой смерти. Но, нет... Фашизм — это-то и есть неминуемая смерть.

В утро 22 июля 1942 года заключенные «Особой» в последний раз видели небо... К подвалу подъехали четыре крытых грузовика с эсэсовцами, прибывшими из города. Заключенным приказали сесть на дно кузова. Палачи торопились, ударами и руганью подгоняли обреченных. Беленького, который не мог передвигаться без костылей, бросили в кузов, а костыли отшвырнули в сторону. В каждую машину сели по четыре эсэсовца с автоматами.

От тех, кого водили за проволоку на работу, потом узнали: расстреляли всех во рву за городом.

В лагерь доходят путанные сведения о положении на фронте. По сообщению газет и по настроению тех немногих немцев, которые соприкасаются с лазаретом, чувствуется, что их армия завязла под Сталинградом. И прежде других барометром успехов или неудач немцев на фронте служит Вобс. В последнее время он чаще дымит трубкой, бьет и правого и виноватого. Лучше ему не попадаться на глаза. Верил, наверно, что с взятием Сталинграда Россию поставят на колени — и войне конец. Но уже во второй раз не выполнены сроки захвата города на Волге. Если так пойдут дела, то легко и ему на передовую попасть.

В конце августа сорок второго года на долю пленных гродненского лагеря выпало счастье услышать прилет советского самолета. Ночью все вскочили от сильного грохота. Бомбят! В

промежутках между взрывами слышен гул моторов крупного самолета.

— Ох, хорошо! Ох, хорошо! — вскрикиваю я при каждом бомбовом ударе и от волнения не попадаю ногой в штанину. Через окно можно рассмотреть, как на дворе немецких казарм, что вблизи лагеря, солдаты забрасывают землей белесоватое пламя зажигательной бомбы.

Выбежали вниз, к дверям. От осветительных бомб, медленно спускающихся на зонтиках-парашютах, видим каждый камешек на земле, каждая травинка. Свет выключен, караульные перекликаются между собой, кто-то их проверяет.

Уложив несколько фугасок на территорию немецких казарм, самолет еще долго кружит над городом ровный шум его мотора — не прерывистый, как у немецких — радостно будоражит заключенных.

— Бей! Бей их! — взволнованно восклицает кто-то из больных.

Но летчик не торопится. Гул моторов то отдаляется, то снова ближе. В темной ночи фашистского плена самолет кажется живой птицей, вестником близкого освобождения. Осветив весь город, летчик разыскивает цель.

— Что ж он? — нетерпеливо спрашивает Коробов, устремив взгляд в небо.

— Трудно разобраться, — говорит Яша, — где вокзал, а где лагерь. А то, что лагерь близко от вокзала, наши знают.

Наконец в стороне вокзала раздается мощный взрыв. Из окна на втором этаже сыплются стекла.

Еще долго висят в воздухе мелкие осветительные бомбы, но гул самолета затих.

Остаток ночи никто не спит. Наши близко — это первый вывод. Второе: немцы оскудели оружием. В городе нет ни одной зенитки, не было слышно ни одного выстрела.

Утром все, кто только мог ходить, вышли во двор. Каждый хочет поделиться своим впечатлением, гордостью за наших. Некоторые доказывают, что был не один самолет, а три. Сашка-ленинградец нашел у ближайшей к лазарету проволоки осколок бомбы и уверяет, что осколок не прошлогодний, а от сегодняшней бомбежки.

— Тепленький еще — кричит он издали, весело улыбаясь. Кусок бесформенного металла с острыми краями пошел по рукам. Всем хочется поддержать его, пощупать, будто он таит в себе тепло родины. И действительно, осколок теплый — от прикосновения сотен рук.

Источник: Каган Д. Рассказы живым: Документальная повесть / Издание второе, дополненное. — А.; Туркменистан, 1986, 208 с.

Электронную версию подготовили Денис Норель, Дмитрий Киенко, Сергей Пивоварчик.

Форматирование в PDF формат: jromanr

На нашем сайте Вы можете узнать больше про историю сражений в ВОВ у пос. Сопочкино:
<http://www.jromanr.com/>

2011.08